

Марко Буттино

РЕВОЛЮЦИЯ НАОБОРОТ

Средняя Азия между падением царской империи
и образованием СССР

Перевод с итальянского Николая Охотина

Послесловие Альберто Мазоэро

ББК 63.3(2)611(257)

Б93

Перевод выполнен при поддержке SEPS

SECRETARIATO EUROPEO PER LE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE



Via Val d'Aposa 7 - 40123 Bologna - Italy
seps@alma.unibo.it - www.seps.it

ISBN 978-5-7870-0110-5

© L'ancora s.r.l., 2003
© «Звенья», 2007

Альберто Мазэро,
профессор Венецианского университета

Анатомия кризиса

Годы работы и поездок, серьезные усилия, связанные со сбором данных в отдаленных краях, способность рыться в центральных и местных архивах, вызывающая зависть у тех, кто понимает всю сложность этого занятия, — все это дало результат, значение которого выходит далеко за пределы изучаемого региона. Марко Буттино как бы с увеличительным стеклом исследует общероссийский революционный кризис на примере отдельного края, выявляя все его анатомические особенности. В этой оптике многие аспекты эпохального превращения царской Империи в Советский Союз предстают в специфической форме, обнаруживают крайности, обусловленные периферийным положением изучаемого региона, но это не лишает автора возможности интерпретировать общую динамику русской революции. Напротив, и это первое и самое общее наблюдение, «странная» революция в Средней Азии предстает менее странной и атипичной, нерелевантной для общей картины, как это можно было бы предположить из заглавия («Революция наоборот»). Впрочем, это прекрасно понимает автор, когда говорит, что сложный конфликт-кризис, который «встречается во многих других местах и, возможно, в не столь выраженной форме, был присущ всей территории зарождающегося Советского Союза».

Театром событий является огромная территория Туркестана, последней из провинций, вошедших в политическое пространство царской России, — между 1865 и началом 80-х годов XIX века. Процесс ассимиляции и интеграции новых территорий — константа для имперского периода России — в наименьшей степени успел затронуть Туркестан, что оставило его в промежуточном хрупком положении: между модернизацией и социальной напряженностью. Марко Буттино сосредоточивается на трех отдельных составляющих, рассматривая их в трех последовательных фазах — колониальное общество до первого крупного мусульманского восстания в 1916 году, «русская революция» в 1917 году и широкомасштабная Гражданская война, завершившаяся установлением новой централизованной власти и формированием нового типа государства. Местом действия первой составляющей является Ташкент, разделенный на «белый», русскоговорящий город и мусульманскую часть. Это административный центр, власть в котором захвачена европейским меньшинством под революционными лозунгами. Вторая составляющая представлена на примере Семиреченской области, где наиболее массово укоренились земледельцы славянского происхождения, что, в свою очередь, вызвало жесткие конфликты между крестьянами-колонистами и местными кочевниками. Третью составляющую мы наблюдаем в Ферганской области — хлопковой долине, зоне первостепенного интереса для русской текстильной промышленности и территории сложных отношений — посреднических и конфликтных — между группами населения и местными властями. Единство книге придают не столько хронологические рамки «война — революция — Гражданская война», сами по себе уже ставшие

традиционными в историографической периодизации революции между 1916 и 1920 годами, сколько попытка свести воедино многочисленные динамики локальных противостояний, проецирующая на одну плоскость социально-экономический контекст, межнациональные конфликты и военно-институциональные события. Попробуем выделить несколько аспектов, не пересказывая текста, а скорее попытаюсь свести некоторые локальные случаи к комплексной картине перехода от Империи к Советскому Союзу.

Воздействие мировой войны на внутреннюю колонию. Что конкретно определило кризис имперской власти в Средней Азии? Выступления женщин против роста цен и серьезные мятежи 1916 года против мобилизации кочевников (от которой они ранее были избавлены как национальное меньшинство) ускорили события. Размах событий застал врасплох местных представителей царской администрации (чиновников высокого уровня — Куропаткина, Гиппиуса), оправдывая тем самым то внимание, которое уделялось в последние годы управлению восточными регионами Империи. И тем не менее вплоть до начала мирового конфликта эта зона оставалась одной из самых спокойных, находящейся вдалеке, например, от жесткой ситуации русско-украинского обнищавшего крестьянского «центра», откуда после харьковских и полтавских волнений 1902 года социально-национальный зародыш русского кризиса стал распространяться в самых классических формах. Трансформация этих территорий в особый тип имперской «колонии» (оставим на заднем плане довольно важный вопрос о специфике и отличительных чертах Азиатской России по отношению к парадигматическим моделям колониального устройства) не привела сама по себе к росту общественного протеста, к возникновению конфликтных тенденций, спроецированных на «антиколониальное» сопротивление местного общества. Восстания конца XIX века, интерпретируемые как завершение определенного цикла сопротивления завоеванию, предшествовали периоду относительно эффективной интеграции. Если, оценивая стабильность имперской конструкции, не учитывать моральные аспекты, в Средней Азии «итог перых пятидесяти лет царской колониальной политики, без сомнения, позитивен». Буттино убедительно показывает, например, как развитие хлопковых плантаций в Ферганской области, которые могли бы служить типичным примером эксплуатируемой колонии в школьном учебнике, в реальности дало почву (возможно, только по причине слабой эффективности русского капитализма) сложной системе с разветвленной сетью посредников и субподрядчиков, специфической туземной «хлопковой буржуазии», чьи интересы сводились к сохранению товарного обмена с метрополией. С другой стороны, авторитарный и колониальный характер администрации не помешал функционированию консультативных институций, в которых пусть и в рудиментарном виде, но достаточно эффективно находило свое представительство местное общество. В культурном плане ислам проявлял себя довольно разносторонне и был еще лишен «возможности сплотить нацию на почве единой идентичности, гарантии автономии и противостояния русским». Примечателен тот факт, что во времена Столыпина наиболее интеллектуальное, прогрессистское и реформаторское ответвление ислама — движение джадидов — относилось весьма положительно к политике «навязывания оседлости» кочевникам, что на деле становилось основной причиной напряженности между русскоговорящими колонистами и мусульманским населением (но в любом случае до конца мировой войны эти взаимоотношения развивались по сценарию, который и близко нельзя сравнить с брутальностью советской «деномадизации»). В некоторых кругах национальной мусульманской и тюркоговорящей

элиты, «ощущавшей себя частью Российской империи», вспыхнувшая война сопровождалась заверениями в патриотической лояльности даже после вступления в войну Османской империи. Поначалу перспектива распространить призыв и на местное население была воспринята положительно, как повод «поставить автохтонное население Средней Азии наравне с прочими народами империи». Как не увидеть в подобных примерах возможность интеграции местных элит, отнюдь не исчерпавшую себя к 1914 году? В самом деле, как недавно было сказано, «революции 1905 и 1917 годов вспыхнули не на периферии, а в столице, в центре Империи. В отличие от Австро-Венгрии, царскую монархию взорвали не национальные движения»¹.

Верно, что начиная с 1905 года политика стимулирования крестьянской эмиграции на азиатские территории усугубляла предпосылки к конфликту. Эта политика была новым витком по сравнению с прежней политикой осторожной крестьянской колонизации, ускорение процессов зависело как от нарастающего аграрного кризиса в России (идея использовать периферийные земли в качестве парового клапана, призванного снизить социальную напряженность в центре), так и от определенного акцентирования «великорусского» националистического мотива в царской политике, в ущерб задачам управления наднациональной империей. Как бы то ни было, вплоть до 1914 года специфика «колониальной» периферии, описанная Буттино, сама по себе не являлась особенно дестабилизирующим фактором и уж тем более чреватых революционными потрясениями. Создается впечатление, что, к примеру, барьер между двумя частями Ташкента или «островки» православных поселений среди преобладающего большинства мусульманских кочевников в Семиречье, составляли в первую очередь фон, контекст, полезный для понимания последующих парадоксальных и неожиданных эффектов революции, в гораздо большей степени, нежели являлись ее «причиной». Скорее именно война — политический фактор, заданный Петербургом, — послужила толчком к нарушению хлопко-зернового равновесия и, следовательно, к ухудшению уровня жизни. Среди прочего война вызвала неорганизованный приток населения в регион: это уже были не колонисты, которым соответствующие инстанции оказывали поддержку в поселении (в ущерб кочевникам), а новый беспорядочный контингент беженцев из охваченных военными действиями западных областей².

В этом отношении предлагаемое исследование приводит серьезные аргументы в защиту определяющей роли мирового конфликта в возникновении революции, а также демонстрирует, сколь глубоко оказались последствия даже в таких отдаленных от фронта местах, как Туркестан. Этот случай представляет определенную аналогию с другими периферийными областями империи — например, с Западной Сибирью, где не было ненависти крестьян к «господам» (дворянское земледелие там практически отсутствовало), а первые настоящие мятежи вспыхнули летом 1914 года, став прямым следствием массированного призыва под ружье рабочей силы. В более общем плане можно сказать, что участие в мировом конфликте способствовало распространению на русский Восток двух типичных механизмов современного государства-нации — всеобщего призыва и дирижистской мобилизации ресурсов, навязывая их текучим и ненадежным реалиям, в значительной степени сохраняющим еще признаки традиционного управления территорией: не только в репрессиях и поддержании порядка, но и в инвестициях, модернизации и посредничестве между разными группами населения. Случай с железной дорогой в Семиречье представляется в этом плане символическим. Коммуникационные сложности в этой плодородной зерновой зоне сыграли ключевую роль в тяжелейшем продовольственном кризисе, выступившем

фоном для революции и гражданской войны в Туркестане. И все же проект железнодорожной ветки находился в процессе реализации, он прервался только с войной, по причине сдвига финансовых приоритетов правительства. Переформулируем вопрос: вызвало ли в конечном итоге революционный взрыв в азиатской провинции проникновение «русской» колонизации или же крушение и паралич всего колониально-интеграционного проекта (вызванные, в свою очередь, мировым конфликтом) предопределили социальный кризис огромных масштабов, усугубившийся в дальнейшем полной делегитимизацией власти в 1917 году? Нам кажется, что исследование Марко Буттино предлагает немало аргументов в подкрепление второй гипотезы.

Власти и продовольственный кризис. Анализ наступившего голода и продовольственного кризиса как последствий кризиса власти — одна из самых интересных частей книги Буттино, отличающаяся оригинальной интерпретацией и позволяющая установить связь между разными политическими фазами в интервале от 1917 года до Гражданской войны. К тому же эта часть книги более всего подходит для сравнения между локальным событием и динамикой кризиса метрополии.

Падение царского режима определяет начальное, демократическое согласие в Туркестане первой половины 1917 года, с характерными для него благими целями мирного восстановления отношений между русскими и мусульманами, а также катастрофической нехваткой поставок. Голод и недостаток ресурсов стремительно становились тем фоном, который стимулировал одновременно неуверенность и агрессивность к «другим», провоцируя соперничество между различными группами населения. Отсутствие сильной и признанной власти, способной решить вопрос распределения продовольствия (нам кажется, что в интерпретации Буттино степень демократичности такой власти является вторичной), вызвало перерождение соперничества за ресурсы в борьбу за инструменты обеспечения безопасности (оружие, военная сила), что, в свою очередь, питало конфликт и определило его характер. Взаимосвязь между этим тяжелейшим социальным кризисом и заимствованным из центра политическим дискурсом (социалистическая революция) позволяет объяснить парадокс локальной советской революции, передавшей власть «доминирующему меньшинству», — буквально «революция наоборот» — и остается в дальнейшем фоном, на котором возникают политические проекты и разные центры «местной власти», конфликтующие между собой и задающие резкие изменения фронта Гражданской войны.

Эта модель может быть полезной для понимания более широкого революционного кризиса, охватившего русскую «метрополию». И в центре взаимосвязь между политическим кризисом и кризисом социальным происходит случайным и непредсказуемым образом, вовсе не развиваясь от экономики к изменению государственного устройства, начиная от «краха» экономической системы или «обнищания» населения и перерастая в коллективный протест, делегитимизацию старой власти и, наконец, замену государства на новую революционную власть. Мы скорее наблюдаем глубокий кризис доверия к царской власти, созревший за время Первой мировой войны (народные волнения февраля 1917 года лишь ненадолго предвосхитили попытку государственного переворота, задуманного в верхах), за которым последовала начальная фаза, принявшая и в Петербурге крайне неоднозначную и шаткую форму под руководством политической коалиции (Временное правительство), уровень полномочий которой был ограничен с самого начала двоевластием (разделением власти с Советами) и ожиданием демократиче-

ской легитимации со стороны Учредительного собрания. Одновременно с этим дух ниспровержения авторитетов, возникший с падением самодержавия, глубоко охватил все общество на всех уровнях. Возникает язык прав и свобод, современных и самых различных — от веротерпимости до прав женщин, от профсоюзов до оспаривания основ патриархата, от отстаивания местных и национальных автономий до сопротивления военной иерархии. Но в то же самое время подрываются каналы административного управления. Повсюду, и не только во внутренней колонии, «кризис империи сопровождается возникновением местных диктаторских властей, держащихся на вооруженных меньшинствах».

Здесь кризис власти пересекается со сферами производства и распределения. Как и в Средней Азии, резкое падение производства хронологически следует за коллапсом власти. В течение 1917 года, заметно ускорившись после октября, рушатся сложившиеся отношения обмена между производственными секторами (сельское хозяйство, сырье, индустрия) и местностями (не только между «метрополией» и ее «колониями», но также и между центрами Европейской России и окружающими областями, между городами и деревней). Кроме паралича системы поставок от дворянских поместий, которые отдавали часть продукции на рынок, перестала функционировать большая и разветвленная сеть кооперативов — посредник между некоммерческими крестьянскими хозяйствами и удаленными рынками. В процессе конфликта, охватившего село Европейской России, легко поддается идентификации феномен исчезновения фигур «посредников» — именитых сельчан, народных учителей, агрономов и т.п., которые прежде обеспечивали определенную связь между городом и деревней; позже некоторые из этих фигур возникали вновь на властных постах в новых органах местной диктаторской власти. Зачастую власть местного Совета означала на практике независимость от любой центральной власти (большевистской в том числе) и отказ предоставлять другим продукцию — заводскую или сельскую, то есть это была местническая диктатура, окрашенная политическим дискурсом о борьбе за привилегии и демократии. Аналогичная ситуация наблюдается в Средней Азии, где «стремлению к централизации горожане и русские крестьяне противопоставляли свою власть на местах: внешне это было защитой демократии снизу, по сути это было сепаратизмом со стороны тех, кто не хотел отдавать свое зерно». В любом случае последствием раздробленности власти стало ухудшение уровня жизни населения, для которого первые месяцы после Февральской революции стали началом социальной катастрофы, продлившейся как минимум до начала 1920-х годов³ (другой вопрос, на кого потом будет возложена ответственность за катастрофу и, следовательно, куда обратятся народный гнев и меры разнообразных местных властителей: на население с другим языком и верой, на коммунистов, конфисковавших зерно, на кулаков-спекулянтов или же на саботажников, приверженцев старого режима, «врагов революции» по причине своей классовой принадлежности?). Однако эти новые и еще более тяжелые лишения составляли не столько причину, сколько результат политико-институционального кризиса. Что выразалось не в усилении эксплуатации труда, поскольку в этой части конец царского режима привел к росту прав на фабриках, к большей независимости деревни, но скорее в упадке основных служб (транспортных, здравоохранительных и т.п.), в сложностях с поставками, нехватке товаров, в том числе в отдельных местностях. По сути, это только предвосхищение того, как советское население приспособится распознавать, со всей большей и большей чуткостью, наступление «тяжелых времен» в повседневной жизни. В целом сце-

нарий Петрограда зимы 1917 года, города новой революционной диктатуры, откуда бежало население, а озеленение бульваров и ограды вырубались из-за нехватки топлива, представляется составляющей ровно той же динамики, которая в Ташкенте вызывала «продовольственное чрезвычайное положение» и «диктатуру голода». В центре, так же как и на периферии, необходимость завладения скудными ресурсами ужесточает и обуславливает рамки конфликта, а также способствует выходу на первый план вопроса монополии силы. Это остро ощущали министры-социалисты Временного правительства (которое безуспешно ввело зерновую монополию), трагически раздираемых противоречиями между причастностью к строительству демократического государства и необходимостью начиная с лета 1917 года восстанавливать основы власти. В последующем императив «забирать зерно» будет сопровождаться военным захватом территории Красной армией и повлияет определяющим образом на государственное устройство Советского Союза с совершенно другой установкой на применение насилия, а контекст повседневных страданий превзойдет выпавшее на первые годы войны⁴.

Слова или контекст? Прямо сопоставлять Туркестан, где под революционными лозунгами скрывались специфические групповые интересы, с революцией в России, где этого не происходило, нам представляется не самым плодотворным способом использования интерпретационных аргументов, предлагаемых в «Революции наоборот». Расхождение риторики с общественными интересами, как это происходило в случае с местной адаптацией и трансформацией спускаемых сверху приказов, не является отличительной характеристикой колониального контекста. С этой точки зрения, возможно, все постимперское общество представляло из себя своего рода когнитивную периферию декларативных заявлений революционного меньшинства. Разве не кажется деформированной, поменявшей свое значение революция русских крестьян, которые в Гражданскую войну восстают во имя Советов, но «против коммунистов»? Отличительной особенностью среднеазиатской зоны становится использование социалистического лексикона для выражения национально-этнических, а не классовых причин конфликта. На российско-украинской территории аграрная революция, на идеологическом уровне сформулированная в терминах права на землю и аграрного социализма, затронула первым делом владения, «принадлежащие вдовам, одиноким женщинам, священникам «чуждых» религий и владельцам с иностранными именами. Естественно, не была оставлена без внимания и городская недвижимость, принадлежавшая евреям»⁵. На Урале Октябрь отмечался «пьяными погромами»⁶. В Западной Сибири мишенью местного «деревенского пролетариата» стали обширные заимки (владения давно осевших здесь русских старожилов, которые отличались довольно отсталым и экстенсивным земледелием и никак не могли быть причислены к буржуазии). Так вот их-то и атаковали другие русские, прибывшие недавно и ожидавшие своей очереди на законное поселение. Риторика отмены привилегий скрывает гораздо более сложную логику конфликта. Даже в этом периферийном случае, как и во многих других, революционный конфликт проникает извне и передается по линиям железной дороги. Его силовыми рычагами становятся группы, которые на фоне местного общества с трудом поддаются однозначной классификации в качестве категории «подавляемых», борющихся с «собственниками»: железнодорожные рабочие (обладающие переговорной силой, так как способны перекрыть жизненно важные коммуникационные линии), крупные военные гарнизоны, располо-

женные в городских центрах (где небольшая вооруженная группа достаточно для сохранения политического контроля над большой территорией), относительно высокое число ссыльных социалистов-агитаторов и т.п.

Однако далеко не нейтральным является содержание риторик, используемых для легитимизации той или иной чрезвычайной меры, той или иной «резолуции» данного руководящего органа, даже когда этот дискурс представляет собой рудиментарное и отдаленное, более или менее искаженное отражение директив центра. Если фрагментированность власти и соперничество за ресурсы (зерно и ружья) составляют необходимую основу для понимания насильственной природы нового государства, наследующего самодержавию, то концепты, используемые политической элитой для прочтения реальности, оказывают влияние на принятие решений. Другими словами, политика и идеология имеют значение. Различные варианты и способы противостояния последствиям кризиса власти и его социальным последствиям периодически возникают в политическом диалоге, в том числе внутри пробольшевистского блока. Дает, например, повод для раздумья требование Совета крестьян-мусульман ответить на кризис либерализацией торговли. Основные политические решения — взятие власти, роспуск Учредительного собрания и т.д. — также относятся к определяющим факторам объективного контекста усугубления социального кризиса. Гражданская война была в том числе и плодом сознательного политического выбора, которого последовательно придерживались в жестких рамках ленинской логики на пороге революции. Эгалитаристская и социалистическая этика, преобладающая в русском политическом дискурсе, взаимодействует с социальным и институциональным сценарием постцаризма, способствуя передаче распределения доступных ресурсов в руки верховного органа, полномочного измерять доступность и оценивать общественные потребности. «Высокая» политическая лексика революции обуславливает восприятие кризиса. Общее чувство враждебности к привилегиям приводит к выявлению источника проблемы в наличии «излишков», скрытых от общественного потребления. Оно способствует представлению скудности ресурсов как последствия действий «перекупщиков» и, следовательно, ограничивает возможные решения поисками способов более или менее принудительных, взиманием квот продукции с отдельных групп или территорий. Идеологический багаж марксистского происхождения, базовый элемент менталитета новой властной элиты, в рамках которого *Realpolitik* и утопические устремления, по сути, оказываются связанными, предлагает инструменты для деления общества на группы «друзей» и «врагов» нового, строящегося общества (связь между классовым анализом и динамикой власти представляет и в самом деле центральную часть ленинского учения); составляет когнитивную базу, используемую в своем хаотическом развитии местными островками власти, так сказать, в полевых условиях. Нельзя также полностью исключить, в функционалистском ключе, предельное и всеохватное насилие гражданской войны (ответная реакция на страх), отделив его от этики и даже от сверхчеловеческой эстетики революционного героизма. Холодная жесткость сцен расстрела, описанных в воспоминаниях чекиста Зазубрина (Владимир Яковлевич Зубцов), действовавшего в окрестностях Оренбурга, Сызрани и Иркутска, глубоко связана с новыми настроениями людей («в голове только одна мысль — о Ней», Богине-революции⁷), в самом деле уверенных в том, что они «инженеры переустройства мира, могучие, как дикие животные, полные неслыханной силы»⁸ (последнее — саморепрезентация, а не описание). В целом использование культурных, идеологических и политических репрезентаций остается, на наш взгляд, необходимым ин-

струментом для объяснения того, каким образом экономико-административная проблема продовольственного кризиса могла стать сперва политической проблемой шаткой демократии, вскоре — военной проблемой изъятия продукта, а еще позднее на этом месте уже возводилось общество, построенное на навязанной сверху в мирное время административной «иерархии потребления»⁹. Если «контекст придает смысл словам», то и у слов есть собственное значение.

Реконструкция государства: русский неоколониализм или советский коммунизм? Одно из поучительных прочтений предложенного нам case-study заключается в следующем: нужно преодолеть чрезмерно упрощенную дихотомию между субъективностью революционной политики и спонтанными движениями, рассматриваемыми как точки отсчета конвергенции и дивергенции. Такой же подход был характерен для многих попыток совместить политический и социальный аспекты революционного процесса начиная с самых первых работ Кипа и Реймана¹⁰. Это нашло отражение в удачных историографических формулах наподобие «плебейской революции» или же в тезисе «спонтанного большевизма», который развивался по своей собственной логике, не зависящей от линии партии и ее врагов. Этой категории исследований до последнего времени мешала невозможность проведения анализа региональных реалий. В то время как тщательное наблюдение локального контекста позволяет сделать вывод о том, что происходившее не было «ни ленинской революцией», ни «революцией племса». Насилие, распространяющееся по стране, не имеет в действительности единого руководства и четких целей, но также и не является плодом слепых инстинктов низших слоев общества, разбушевавшихся в отсутствие контроля со стороны государства. В насилии нет ничего стихийного или «первобытного», там есть только бесконечные частные логики в контексте общего страха. Реконструкция политического единства империи происходит во вторую очередь и является вооруженным завоеванием, сопровождающимся образованием централизованных институций Советского государства». Буттино выделяет и выносит на первый план уровень посредников, разнородных «власть имущих», а также альтернативные проекты реконструкции власти, более или менее разработанные и различающиеся политическим и национальным содержанием («еретический» русский Совет Ташкента, автономные мусульманские республики, различные варианты «сильной руки» — как, например, курбаши — в седле между антиколониальным сопротивлением и простым бандитизмом) в соперничестве между собой на фоне военно-продовольственного кризиса. Таким образом, имеются отношения двух типов: отношения между этими силами и гражданским населением, которое в целом оказывается жертвой, больше объектом, нежели субъектом революции (и, следовательно, не столько проживает свой исторический цикл с целью демократически получить контроль над собственным будущим, сколько претерпевает катаклизм, возникший извне и перевернувший условия жизни), но также и отношения между центром и деятелями новых местных властей, занятыми поисками собственной легитимации и усилением своих позиций во взаимоотношениях с новой властью в Кремле. Такая перспектива хорошо объясняет крайне насильственный контекст Гражданской войны и, одновременно, характерные для нее неожиданные и изменчивые союзы. В действительности это легко применимо и к обширным периферийным территориям (по сути — основной части территории будущего Советского Союза) времен начала Гражданской войны, где государство возникало в процессе бесконечных смен власти и в контексте соперничества между вооруженными группировками, представлявшими

разные силы (белые генералы, автономистские движения, националистические в большей или меньшей степени, социалистические антибольшевистские республики, различные «партизанские» крестьянские движения и т.д.), как к западу от Москвы, в направлении Украины, так и в направлении Урала и Сибири.

В случае Туркестана восстановление политической власти было завершено привлечением превосходящей военной силы — Красной армии, которая после ряда поражений и побед, а также заключенных на месте союзов «завоевала» территорию, используя такие современные средства, как авиация (для тех времен высокотехнологичное оружие). Однако не менее важным представляется способность центра членить локальный контекст, с большой гибкостью выбирая себе тех или иных собеседников в зависимости от ситуации. Достоянием внимания также гибкость в выборе и встраивании новых субъектов, возникающих в процессе кризиса, в новую социальную иерархию — набор действий, которые требуют от государственной идеологии способности давать ответы на поиски идентичности (что позволяет думать о самих себе как о мусульманах и тюрках и, одновременно, как о представителях новой коммунистической иерархии). Впрочем, ранее возведение многонациональной империи уже продемонстрировало сопоставимые способности в процессе трансформации балтийской знати в Риге или татарской аристократии в Казани в верноподданнейших слуг царя.

В рассматриваемом случае результат может представиться логичным продолжением предыдущего «русского» владычества, его реконструкцией, «возникновением новой колониальной системы», где «советская власть, помимо прямого использования силы и контроля над гражданской и военной администрацией, проводит политику маргинализации и разрушения местной культуры: преследование мусульманских ученых и уничтожение их трудов, закрытие мечетей и школ при них, запрещение исламских судов, попытки разрушения традиций». Вплоть до какого момента, тем не менее, можно рассматривать присутствие Красной армии в Ташкенте в качестве инструмента восстановления позиций России в Средней Азии? И в чем усматривать преемственность или, наоборот, разрыв с имперским прошлым? И какую советскую власть брать в рассмотрение — ту, которая действует в этих «экзотических» регионах постимперского пространства исключительно колониалистскими средствами, или ту, что проецирует вовне идеологию антиимпериалистической эмансипации народов Азии?

Исследование Буттино, и без того очень широкое, останавливается на пороге настоящего государственного строительства, советская национальная политика уже не попадает в поле его рассмотрения. С другой стороны, вопрос о колониальной специфике советского государства, так же как и более общий вопрос о его имперском наследии, естественно, очень сложен и в рамках данной работы полностью рассматриваться не может. Кроме того, этот вопрос сам по себе отсылает к широкой теме о значении азиатской экспансии и, в общем, о «колонизации» периферийной территории во всей русской истории, чему посвящено немало проводимых сейчас исследований¹¹. Можно, однако, добавить некоторые наблюдения. В значительной части регионов СССР гражданская война фактически заканчивалась (так же как в Средней Азии) с «приходом» Красной армии. Почти повсюду государственное строительство выходило «вовне», за рамки первоначального владения, становилось «собираанием царских земель»¹², сопровождавшимся отбором и введением некоторых местных сил во властные эшелоны (как пример — включение в партийную номенклатуру вождей партии эсеров, прежде возглавлявших антибольшевистское сопротивление). С этой точки зрения механизмы реставрации власти, рассматриваемые Буттино в Сред-

ней Азии, возможно, содержат определенный эвристический потенциал, обладающий объяснительной силой и в других контекстах — где исключительно «этнический» признак конфликта, выразившийся в противостоянии русскоязычного и мусульманского населения, менее значим или вовсе отсутствует, а население разделяется по каким-то совершенно другим линиям (мы уже приводили в пример сибирский конфликт между старой и новой волной колонистов, обе — русские и православные). Впрочем, установление в Средней Азии новой власти, которая объявляет преступлением следование традициям, совпадает по времени с преследованием православной церкви в самой России и конфискацией ее имущества, проводящейся во имя равного распределения ресурсов во время голода (аспект политического использования продовольственного кризиса). Параллельно с этим происходит исключение духовенства и других традиционных элит села из избирательных списков, социалистическая законность налагается на традиционные формы обычного права. Все это предшествует полному разрушению гражданского общества (коллективизация русской деревни, совпавшая с денационализацией Казахстана).

Возможно, следует признать, что процессы формирования инакости, наблюдаемые в сфере изучения постколониальных процессов, представляют определенное сходство с построением коммунистического общества даже там, где языковые и конфессиональные отличия были не столь заметны. Барьер между революционером-интеллектуалом и православным крестьянином был не меньше того барьера, который разделял просоветски настроенного русского в Ташкенте и тюркоговорящих «аборигенов». В самом деле, концепты наподобие «культурной дистанции» могли бы вполне успешно использоваться в том числе и для описания исторического размежевания великого русского народа и городской предреволюционной элиты (в свою очередь — наследство «великого страха» знати перед Пугачевским восстанием), а в нашем конкретном случае — для объяснения усиления мотива «азиатскости» русского крестьянина у авторов социал-демократического крыла (Плеханов, Горький) и тем более советских формул об «идиотизме сельской жизни», освобождением от которой может служить только глубокое перевоспитание личности в ценностях социалистической современности (по сути та же «цивилизаторская миссия») ¹³. Постоянным фоном тем не менее выступает вековая традиция символического присутствия власти, культивировавшая образ суверена как далекого и «чужого» по отношению ко всем сословиям населения, включая «нацменьшинства» ¹⁴.

С одной стороны, недавние попытки осмыслить всю имперскую и советскую историю в свете «внутренней колонизации» выглядят неудовлетворительными и слишком общими (несмотря на броские формулы вроде «бремя бритого человека», аллюзия на первоначальную матрицу авторитарной петровской модернизации), чрезмерно широкие и неопределенные дефиниции теряют в эффективности ¹⁵. Но с другой стороны, процесс строительства советской государственности стал бы яснее от осознания того факта, что коммунизм и колониализм, обычно воспринимаемые как полярные явления двух противоположных систем, демонстрируют также ряд сходств и общих методов действия, одинаковых как в Ташкенте, так и в Ленинграде. И в этом аспекте прекрасная книга Марко Буттино дает много пищи для размышлений.

¹ Kappeler A. Centro e periferia nell'Impero russo, 1870–1914 // Rivista storica italiana. CXV. 2003. V. 2. P.438.

² Это явление описано в воспоминаниях чиновника того времени: Татищев А.А. Земли и люди: В гуще переселенческого движения, 1906–1921. М.: Русский путь, 2001. С. 221–222.

³ См., напр., другое исследование в жанре case-study, очень глубокое и снабженное многими документальными свидетельствами: Нарский И. Жизнь в катастрофе: Будни населения Урала в 1917–1922 гг. М.: РОССПЭН, 2001.

⁴ См., напр., данные о человеческих потерях в Донской области: Holquist P. Making War, Forging Revolution: Russia's Continuum of Crisis, 1914–1921. Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 2002. P.282.

⁵ Graziosi A. La grande guerra contadina in Urss: Bolscevichi e contadini, 1918–1933. Napoli, 1998. P. 23.

⁶ Нарский. С.196.

⁷ Зазубрин В. Щепка // Сибирские огни. 1989. №2.

⁸ Там же.

⁹ Осокина Е. За фасадом «сталинского изобилия»: Распределение и рынок в снабжении населения в годы индустриализации, 1927–1941. М.: РОССПЭН, 1999.

¹⁰ Keep J.H. The Russian Revolution: A Study in Mass Mobilization. New York: Norton, 1976; Reiman M. La Rivoluzione russa dal 23 febbraio al 25 ottobre. Bari: Laterza, 1969.

¹¹ Сравнительно недавний пример: Khodarkovsky M. Russia's Steppe Frontier: The Making of a Colonial Empire, 1500–1800. Bloomington: Indiana University Press, 2002.

¹² Kappeler A. Russland als Viervoelkerreich: Entstehung: Geschichte: Zerfall. Muenchen: C.H.Beck, 1992. P.301.

¹³ Hellbeck J. Fashioning the Stalinist Soul: The Diary of Stepan Podubnyi, 1931–1939 // Stalinism: New Directions (ed. S.Fitzpatrick). London; New York, 2000.

¹⁴ Wortman R. Scenarios of Power: Myth and Ceremony in Russian Monarchy. Princeton: Princeton University Press, 1995.

¹⁵ Эткинд А. Бремя бритого человека, или Внутренняя колонизация России // Ab Imperio. 2002. V.1. С.265–298.